

ПОЭТ-БЕРСЕРК: ОБ УНИКАЛЬНОСТИ ВОЕННЫХ СТИХОВ ПАВЛА ШУБИНА

Алексей Колобродов

Позволю себе реплику об одном чрезвычайно важном моменте, который делает фронтовые стихи Павла Шубина явлением совершенно уникальным на щедром фоне русской военной поэзии.

1

Начнём с цитаты. *«Папа! — сказала я, когда последний отзвук его голоса тихо замер над прекрасной рекой Истрой. — Это хорошая песня, но ведь это же не солдатская?»*

Думаю, юный барабанщик из повести Аркадия Гайдара отказался бы признать полноценно «солдатской» практически всю нашу лирику военных и первых послевоенных лет. Примирило бы Серёжу Щербачёва с ней, наверное, очевидное обстоятельство: большинство этих песен и стихов, конечно, о солдатах, людях на войне. А разочаровало бы... В стихах практически отсутствуют сцены боёв и сражений: тяжелейшая повседневная рутина войны, цена побед, ненависть и проклятия врагу.

Феномен первым отметил Вадим Кожинов, рассуждая о военной поэзии: *«...Преобладающая часть этих стихотворений написана не столько о войне, сколько войною. С “тематической” точки зрения — это стихотворения о родном доме, о братстве людей, о любви, о родной природе во всём её многообразии и т. п. <...> Преобладающее большинство обретающих признание*

стихотворений (включая “песенные”) тех лет никак нельзя отнести к “батальной” поэзии; нередко в них даже вообще нет образных деталей, непосредственно связанных с боевыми действиями...»

При этом принципиальным моментом остаётся практически полное отсутствие ненависти и агрессии. Советская военная поэзия — в диапазоне от гимна до лирики — как правило вполне девственна в пробуждении чувств, так сказать, недобрых: от социально-классовой ненависти до ксенофобии, и даже в отношении противника в непосредственном боевом столкновении.

В поэтических произведениях периода Великой Отечественной вообще очень редко встречаются «немцы» и «фашисты». Чаще речь идёт о «неких» врагах, причём даже в предельно откровенном для того времени стихотворении, ставшем песней, «Враги сожгли родную хату» Михаила Исаковского (1945).

Понятно, что есть враги, их надо уничтожать, но жизнь важнее смерти, и огромность и хрупкость её воплощает образ Родины с далёкими любимыми, единственным теплом родного дома, соловьями, осенним лесом, травой заросшим бугорком в широком поле, фронтовым братством с махорочкой, чарочкой и задушевным разговором...

И даже когда русские ребята поют: «В Германии, в Германии, в проклятой стороне», понятно, что эмоциональное отношение к территории, откуда пришёл жестокий агрессор, не распространяется на людей, её населяющих...

Именно здесь, вопреки расхожим либерально-идеологическим клише, несложно разглядеть цветущую сложность тогдашней духовной жизни, многообразие проявлений «скрытой теплоты патриотизма» (по Льву Толстому).

Всё познаётся в сравнении: в Третьем рейхе ничего подобного не существовало — ни в пропаганде, ни в искусстве, повсеместно той пропагандой заряженном. Военные марши («собачьи», по выражению писателя Виктора Курочкина) — наличествовали. Бытовые, преимущественно фольклорные, сюжеты и песенки — да, тиражировались. Но поэзия, рождённая всей полнотой сознания

воюющего народа, красноречиво отсутствовала как культурный факт.

Добавим ещё один штрих — пограничный, но немаловажный.

Любой народ, и не только в критические моменты своего существования, может быть одолеваем демонами расизма и ксенофобии. Русский, понятно, не исключение — архаичного сознания в одночасье не отменить, — однако нравственная щепетильность в подобных случаях категорически запрещает русскому человеку «прямоговорение», высказывание от собственного имени. Чтобы озвучить соответствующий комплекс, ему надо либо надеть личину, выдав себя за кого-то другого, либо умереть. Уйти в иное измерение, где земные конвенции перестают работать.

Как пример характерен текст легендарной «Гибели “Варяга”» («Врагу не сдаётся наш гордый “Варяг”...»), третьего, очень редко исполнявшегося куплета:

Из пристани верной мы в битву идём,
Навстречу грозящей нам смерти,
За Родину в море открытом умрём,
Где ждут желтолицые черти!

Надо сказать, сюжет с «Варягом» вообще любопытен.

Оригинальный текст принадлежит австрийскому поэту Рудольфу Грейнцу, на которого подвиг экипажа крейсера «Варяг» произвёл сильное впечатление. Стихотворение называлось «Der “Warjag”» и было опубликовано по горячим следам события — в апреле 1904 года. Сразу появилось два перевода на русский: Н. Мельникова и Е. Студенской. Знаменитая песня написана на текст последней; отметим, что перевод Евгении Студенской получился вольным, а вот Мельников почти дословно следовал оригиналу Грейнца, где третий катрен звучит так:

Из надёжной гавани — в море
За Отечество умереть.
Там подстерегают жёлтые черти нас
И извергают смерть и разрушения!

Как видим, австрийцу нет особого дела до русских эмоционально-психологических тонкостей и неполиткорректные по сегодняшним меркам вещи он проговаривает, что называется, «на голубом глазу» и без всякой извиняющей метафизики.

А вот пример надевания маски: дворовый хит «Фантом» 1970-х. Он интересен попыткой русских тинейджеров влезть в шкуру американского пилота, воюющего во Вьетнаме. Рассмотрим вариант песни, исполнявшийся Егором Летовым и вошедший в альбом «Let it be» проекта «Коммунизм» (альбом фиксирует своеобразную субкультуру русского прихиппованного американизма, как его понимали в тогдашнем СССР):

...Мы воюем во Вьетнаме
С узкоглазыми скотами...

И ответил мне раскосый,
Что командовал допросом...

Врёшь ты всё, раскосая свинья...

То есть под чужой личиной русский человек охотно проговаривает инвективы, на которые бы никогда не решился от собственного имени.

Отметим также, что песня посвящена не только судьбе сбитого американского пилота, но профессионализму и удали «советского аса Ивана», негласно воюющего на стороне вьетконговцев. Есть здесь даже мотивы некоей общности «белого человека»: на фоне «раскосых» Иван — тот самый враг, который вызывает у американца исключительное уважение.

Ещё раз зафиксируем: или смерть, заставляющая высказываться с последней прямоотой, или радикальная смена личины, по сути, равносильная смерти.

На этом фоне фронтовые стихи Павла Шубина отличаются как от лирики, «написанной войною», так и от поэтической публицистики, манифестирующей государственную необходимость смертельной борьбы с врагом (характерный пример — стихотворение Константина Симонова «Убей его!» («Если тебе дорог твой дом...»), 1942).

Кстати, у Шубина есть свой вариант «Убей его!» — стихотворение «Целься, товарищ, верней!», опубликованное так же, как и симоновский манифест, в июле 1942 года, — близость текстов очевидна, как и общий посыл к созданию: тяжелейшая ситуация на фронтах лета сорок второго года, начало Сталинградской битвы.

Если уйдём мы с поста своего,
 Если не устоим.
 Немцы
 Полям не дадут расти,
 Срубят отцовский сад,
 Будет по детским телам вести
 Каждый наш шаг назад.
 Враг перед нами.
 За нами — мать
 Наше хранит жильё...
 Больше нам некуда отступить,
 Не растоптав её.
 Враг перед нами...
 Я буду жить!
 Смерть обманув сто раз,
 Чтоб пред собой его положить,
 Чтобы под каской его прошить
 Пулей литой меж глаз!
 ...Вот и ударили прожектора.
 Целься, товарищ, верней. Пора!

Был и ещё один вариант концовки «Целься, товарищ, верней!»:

Враг перед нами...
И я умру
Здесь, под родным кустом,
Синим штыком пропоров дыру
В сердце его пустом.
Пусть
На полпяди земли родной
Ляжет, как рожь в зажим,
Нами положенною ценой
Мяса его аршин!
...Вот и ударили прожектора,
Целься, товарищ, верней.
Пора!

Не сравнивая качества двух соприродных стихотворений, отметим куда менее дидактичную и, при всей предметности и физиологизме, более романтически-возвышенную манеру Шубина.

Впрочем, публицистические и, современно выражаясь, мотивационные тексты в его военном корпусе — всё-таки, повторимся, редкость. Основные жанры Павла Шубина — журналистские, военкорские, это репортаж и очерк (где все ситуации совершенно реальны, и имена-звания героев абсолютно подлинны, Шубин использует художественность как средство и дальше в статусе не повышает), но практически всегда с привлечением надличностных ландшафтов и стихий, сделанные на крайних, хотя и контролируемых, эмоциях.

У Шубина градус ненависти к врагу явно превышает регламентированный государством и подходит почти к ветхозаветным уровням — и привычная советская лексика странным образом метафизические обертоны подчёркивает:

Отметим, товарищ, атаками день годовщины,
Телами бандитов устелем леса и лощины!

Пусть немки не молятся: к ним не вернуться мужчины, —
Их горе сгорбатит, и слёзы им выжгут морщины!

<...>

Так пусть же везде будет враг наш настигнут и найден,
Пусть гнев наш карающий будет, как штык, беспощаден,
Бесславна кончина отмеченных свастикой гадин,
И хрип их предсмертный для нашего сердца отраден!

<...>

(«Смелее, товарищ!», 23.02.1942)

...Размахнись, рука, бойчее,
С яростью моею в лад,
Размозжи немецкий череп,
Тульский кованый приклад!

Вскинул немец парабеллум,
Только я махнул быстрей,
Только снег под светом белым
Враз от крови запестрел.

(«Первый бой», январь 1943)

Шубин вообще-то литератор достаточно целомудренный, сформировавшийся в советские поздние 1930-е с их культом традиций и семейных ценностей, в военной обстановке отказывается от всяческих табу:

<...>

...Трёхлетний карапуз
К избе зажжённой
Бежал,
Услышав материнский крик, —
И вот он — тёплый,
Голубино-белый,